

Большой и интересной я считаю свою встречу с Толстым в Краснодаре. Тогда я, как и многие другие, не знал о его смерти, и это было для меня очень печально. Я был уверен, что он еще жив, и это было для меня очень печально.

После Толстого (Из моих воспоминаний)

В моей личной жизни Толстой занимал большое место. Если я сейчас об этом пишу, то только потому, что не считаю себя исключением, что многие из моих современников пережили нечто схожее. Мне кажется, что сейчас, когда прошло уже двадцать пять лет со дня смерти Л. Н. Толстого, наступило время, чтобы рассказать, какое значение он имел для нашего поколения.

Мне только трудно будет дать почувствовать значительность того внутреннего процесса, который был у меня связан с Толстым. Я не знаю, как входит в жизнь то, что я бы назвал нравственным усилием. Это не простое желание «быть лучшим», которое нам знакомо с раннего детства. Нет, это подлинный духовный поворот, а часто — и переворот, когда под влиянием нового хода мыслей вся жизнь вдруг предстает в ином свете, когда нравственным усилием как бы направляешь жизнь по новому руслу.

Вот в личности Толстого и в его писаниях было нечто такое, что поразило меня и оставило след на всю жизнь. У Глеба Успенского есть замечательный рассказ «Выпрямила» [1885], где он говорит об огромном влиянии, которое на героя рассказа произвела статуя Венеры Милосской. Вот это слово «выпрямила» очень близко подходит к тому, что у меня связано со значением Толстого в моей жизни.

Помню первые впечатления от чтения «Войны и мира», да и других художественных произведений Толстого. Пожалуй, отсюда, а не от нравственно-философских статей Толстого все и пошло. Основное впечатление: да ведь это

все и ко мне относится, это не чтение, а кусок личной жизни. А главное — страшно что-то нужное, серьезное и ответственное. Невольно все к себе примерял, хотя, казалось бы, что общего между мной, юношей из другой среды, из совершенно иного мира и... кн. Андреем Болконским?

Жить по-прежнему, бездумно отдаваясь потоку жизни, я уже не мог. Появилось чувство ответственности, не перед другими (это дается легко сравнительно), а перед самим собой. Обострилось то, что я называю «нравственным усилием», стремлением сознательно выпрямить и направить свою жизнь. Рассказать весь этот процесс внутренней борьбы и — теперь я могу это уже сказать — духовного роста, очень сложно. Но роль Толстого была в этом огромна. Не только первый толчок, но и постоянное обращение к нему в минуты трудные, поворотные сопровождало эту мою внутреннюю жизнь.

«Толстовцем» я никогда не был, но влекло меня к нему необычайно. Одно сознание, что в Ясной Поляне живет человек, который мог написать «Казаков», «Войну и мир», «Смерть Ивана Ильича», казалось мне почти невероятным чудом. Втайне я мечтал, что, может быть, еще и на мою долю выпадет счастье увидеть его хоть издали. Помню, каким-то путем в руки мне попал номер, кажется, «Temps» с «Не могу молчать». Я просидел ночь над переводом на русский язык, чтобы прочитать статью своим друзьям.

Когда я попал в Петербург, судьба меня довольно близко столкнула со средой, близкой Толстому. Приближался день его 80-летия. После отказа Л. Н. Толстого от чествования возникла мысль об организации дома-музея его имени. Инициатива исходила от Василия Яковлевича Богучарского, впервые выдвинувшего эту идею на Съезде писателей 1908 г. Не знаю, почему я оказался среди нескольких студентов-словесников, направленных к Всеволоду Измайловичу Срезневскому, тогда хранителю рукописного отделения библиотеки Академии наук, который принимал

близкое участие в устройстве Толстовской выставки, положившей основание толстовскому Музею в Петрограде.

В значительной мере это как будто случайное событие, глубокими внутренними корнями, однако, связанное с моим отношением к Толстому, имело определяющее значение на всю мою жизнь. Оно не только сблизило меня с В. И. Срезневским, но ввело и в Рукописное отделение Академии наук, в котором потом протекала моя научная деятельность.

Разве можно тому, кто сам не пережил дней «ухода» и смерти Толстого, рассказать то, что пережили мы, современники этого события. Помню, весть о смерти застигла меня в трамвае. Мне не стыдно в этом признаться: я не мог удержаться от слез. Меня не захватали суета, овладевшая студенчеством в связи с предстоящими похоронами. Мне даже не захотелось примкнуть ни к одной из многочисленных делегаций, отправлявшихся в Ясную. Что бы я там делал, когда его уже не было в живых? Мечта увидеть Толстого при жизни оборвалась.

Но именно теперь начался мой «толстовский» период жизни. Повторяю, с «толстовством» он ничего общего не имел. Меня потянуло к научной работе над Толстым, захотелось проникнуть в тайну его творческого духа. Обстановка мне очень благоприятствовала. В. И. Срезневский, сейчас едва ли не лучший знаток жизни и творчества Толстого, был превосходным руководителем в этой работе. От внешне биографической работы я вскоре перешел к работе над богатейшим собранием рукописей, поступивших в Рукописное отделение Академии. Вскоре возникла мысль о подготовке научного издания собрания сочинений. В. И. Срезневский привлек меня и к редактированию совместно с ним сборников «Толстой. Памятники творчества и жизни». Работа по подготовке собрания сочинений велась одновременно в Петрограде и в Москве, где руководила работами гр. А. Л. Толстая. Издание сочинений Толстого, которое выходит сейчас в России, заложено было

именно тогда. Вся подготовительная работа — разбор рукописей, их описание, установление редакций — велась особым комитетом по подготовке этого издания.

Вспоминаю все это сейчас, чтобы рассказать о нескольких эпизодах, связанных с этим периодом моей жизни.

Не помню точно года, но это было уже во время войны. Мы решили с В. И. Срезневским поехать в Ясную Поляну. Мы шли от станции пешком, и никто нас в Ясной не ожидал. Помню, с каким трепетом я подходил к усадьбе Толстых, так хорошо уже мне известной по снимкам. Мы застали Софью Андреевну за чаем на знаменитой террасе. В Ясной тогда были Татьяна Львовна, Т. А. Кузминская, В. Ф. Булгаков и один из сыновей Толстого, приехавший с фронта. Да, помню еще доктора Душана Петровича Маковицкого. Столько перечитано о жизни Толстого, что боявшись невольно смешать личные впечатления с отложившимся от чтения. Но кое-что врезалось в память. В. Ф. Булгаков, который тогда был занят описанием библиотеки Толстого, показывал нам дом. В одной из комнат, на карнизе или на полочке стояли фотографии. Одна из них была лицом повернута к стенке. В. Ф. Булгаков спокойно ее снова повернул, как бы совершая привычное действие. Это была карточка В. Г. Черткова. Булгаков нам объяснил, что Софья Андреевна в своей нелюбви к Черткову то и дело поворачивает его карточку лицом к стенке, а он упорно ведет с этим борьбу. Мне тогда же казалось это символичным для всей обстановки яснополянской жизни. Не забуду и другого эпизода, связанного с посещением Ясной. К дому издали подходила большая экскурсия школьников, желавшая осмотреть дом и поклониться могиле Толстого. Отчетливо помню (не хочу сейчас еще передавать подробностей), с каким возмущением сын Толстого воспринял это вторжение чужих людей в его родной дом.

Для С. А. Толстой Ясная Поляна была домом-очагом, с которым была связана вся ее жизнь, с радостями и горестями. Все, что отрывало Толстого от семьи, отчуждало его и

разрушало привычную обстановку налаженной семейной жизни, все это она воспринимала враждебно, с раздражением. На В. Г. Черткове она сосредоточила всю свою ненависть. Он был для нее воплощением всего того, что, по ее убеждению, погубило ее счастье. Я хорошо помню, как была она возбуждена и с какой горечью говорила о В. Г. Черткове и его роли в жизни Толстого. Это была еще не зажившая рана, которой нельзя было касаться. Но когда она показывала дневник свой, над которым тогда работала, с какой любовью она говорила о Льве Николаевиче, как помолодели ее глаза и сколько искреннего и глубокого чувства было в каждом ее слове. Меня особенно поразили ее глаза: в них было еще столько жизни и энергии! Вечером все собирались в гостиной за круглым столом. По предложению Софьи Андреевны читали — не помню уже точно что именно — из Толстого. Я не очень слушал, я думал о другом: как в этой же комнате, в той же обстановке Лев Николаевич проводил вечера, как он, сидя за шахматной доской, прислушивался к тем же разговорам тех же людей. Эти мысли меня волновали и отвлекали мое внимание. Может быть, поэтому и не помню сейчас, что именно читалось в этот вечер. Татьяна Львовна жила с дочерью отдельно. Она позвала нас к себе и многое из связанного с памятью отца показывала нам. Помню, с особенной любовью вспомнила она Н. Н. Ге, показывала его письма и рисунки. От этого посещения осталось совершенно иное впечатление; здесь не было того чувства напряжения, не было постоянной опаски неосторожным словом задеть, сделать кому-нибудь больно. И думалось, Лев Николаевич при жизни именно в такой обстановке душевного покоя и простой любви к нему нуждался.

С В. Г. Чертковым и его женой, Анной Константиновной, мне приходилось не раз встречаться в Петербурге, в связи с работой над рукописями Толстого. Даже Софья Андреевна не могла не признать, что В. Г. Чертков был безгранично предан Толстому и что по-своему любил. Но я

думаю, что он сам много страдал от своего характера, в котором есть что-то неподвижное и тяжелое. Я должен сказать, что в той работе над Толстым, которая тогда велась в Петербурге, насколько я помню, не возникало никаких особых разногласий и В. Г. Чертков всячески шел ей на встречу. Не могу не вспомнить здесь Анны Константиновны Чертковой, о которой все, ее знавшие, сохранили самые светлые воспоминания. Вечно болезненная, хрупкая физически, она всегда горела внутренним огнем любви и сочувствия к людям. Так странно непохожи были Чертковы друг на друга! Их многолетняя семейная близость свидетельствовала о том, что в В. Г. Черткове были черты, которые он прятал от других и которые невольно прорывались в присутствии Анны Константиновны. Из «темных», как называла Софья Андреевна «толстовцев», знал я еще Константина Семеновича Шохор-Троцкого. Сын известного педагога, он под влиянием Толстого посвятил себя всецело помощи отказавшимся от отбывания воинской повинности и собранию биографических данных о них. В период моих встреч с ним он много работал над Толстым и близко примкнул к той группе, которая образовалась вокруг толстовского Музея в Петербурге. Как я уже упоминал, в Ясной Поляне встретился я и с бывшим секретарем Толстого, Валентином Федоровичем Булгаковым, который вел тогда работу по описанию библиотеки Толстого. Его тактичность давала ему возможность поддерживать, несмотря на то, что он был по своим убеждениям типичным «толстовцем», близкое отношение со всей семьей Толстого. Душана Петровича Маковицкого я видел в Ясной Поляне мельком. Как всегда, он куда-то торопился, к своим больным, очевидно, и в общих разговорах принимал малое участие. Но от него у меня осталось самое трогательное впечатление. Он был воплощенная скромность, точно ему самому было неловко, что он людей затрудняет своим присутствием. Был он любим решительно всеми и, говоря о нем, все невольно становились точно светлее.

Очень памятно мне также посещение Москвы с В. И. Срезневским, в связи с разбором рукописей Толстого. Было это уже после октябрьского переворота. Вечерами Москва была мрачна и точно вымерла. Мы были в Румянцевском музее, где Александра Львовна показывала нам проделанную уже работу по описанию рукописей толстовского собрания. Была снята масса копий, шла интенсивная работа по разработке рукописей, велась усиленнаяcommentаторская работа. Из ближайших сотрудников А. Л. Толстой помню С. П. Мельгунова и А. М. Хирьякова. С последним я встречался и раньше, в Петербурге, и от того времени сохранил о нем самые теплые воспоминания. Поэтому мне было так приятно с ним снова встретиться, после долгого перерыва и стольких событий, в прошлом году в Варшаве.

В это посещение Москвы мы вечером собирались у Сергея Львовича Толстого. В узком кругу, все людей близких Толстому, читалась тогда драма Толстого «И свет во тьме светит», в которой личный, автобиографический элемент так ярко выражен. Завязался разговор между близкими Толстого о причинах семейной катастрофы.

Помню, что Сергей Львович тогда, с горечью и точно недоумевая, обратился к сестре: как же это мы не замечали многого из того, чем папа болел и что его в нашем, его детей, поведении огорчало? И странно было слушать, как брат и сестра стали вспоминать многие житейские подробности своей жизни, точно стараясь теперь — когда уже было поздно — друг перед другом высказать то, что их в одиночку, может быть, не раз мучило. Я очень жалею, что тогда под свежим впечатлением не записал подробностей этого удивительного вечера.

Приходилось мне встречаться и с другими близкими в той или иной степени Толстому лицами, как, например, с П. И. Бирюковым, И. И. Горбуновым, П. А. Сергеенко. Но, как это ни странно, светились эти люди каким-то отраженным, тусклым светом.

Иное впечатление осталось от встреч с людьми, близкими Толстому по прошлому, связанными с ним принадлежностью к общей среде и давними воспоминаниями. Среди них особенно запомнилась мне Татьяна Андреевна Кузминская, которую видел я только однажды. Она вся светилась ровным немерцающим светом. Потом, читая ее прекрасные воспоминания, я видел ее перед собою и слышал ее голос. Раза два довелось мне встретиться с Михаилом Александровичем Стаковиным. Редко в ком так чувствовалась «порода»: он был подлинным духовным аристократом. И с ним Толстой, наверно, чувствовал себя проще, чем с близкими ему по вере толстовцами.

В цепи моих воспоминаний, связанных с Толстым, стоит еще одно имя, которое занимает в моей личной жизни исключительное место. Это академик Алексей Александрович Шахматов. По кругу своих интересов и занятий, по общему складу своего характера и своим взглядам он был далек от того круга людей, который окружал Л. Н. Толстого. Но в каком-то высшем смысле он был глубочайшим образом с ним связан. В Толстом он ценил не его учение, а его нравственную силу. Поэтому всякое начинание, связанное с Толстым, находило в нем близкое сочувствие. Ему толстовский Музей в Петербурге был обязан своим дальнейшим сохранением уже в составе учреждения Академии наук. На А. А. Шахматове я особенно ярко понял, как огромно было нравственное влияние личности Толстого на его современников, как равномерно разливался свет из Ясной Поляны на всю Россию. А влияние личности А. А. Шахматова на всех, кто приходил с ним в соприкосновение, было, в свою очередь, огромно. О себе могу это, во всяком случае, утверждать. И я думаю, что я являюсь не исключением, если скажу, что не могу себе даже представить своей жизни без Толстого, влияние которого сказывалось не только непосредственно, через его творчество, но и через людей, на которых лег немеркнувший свет его душевного благородства.

18-го октября 1935 г.